

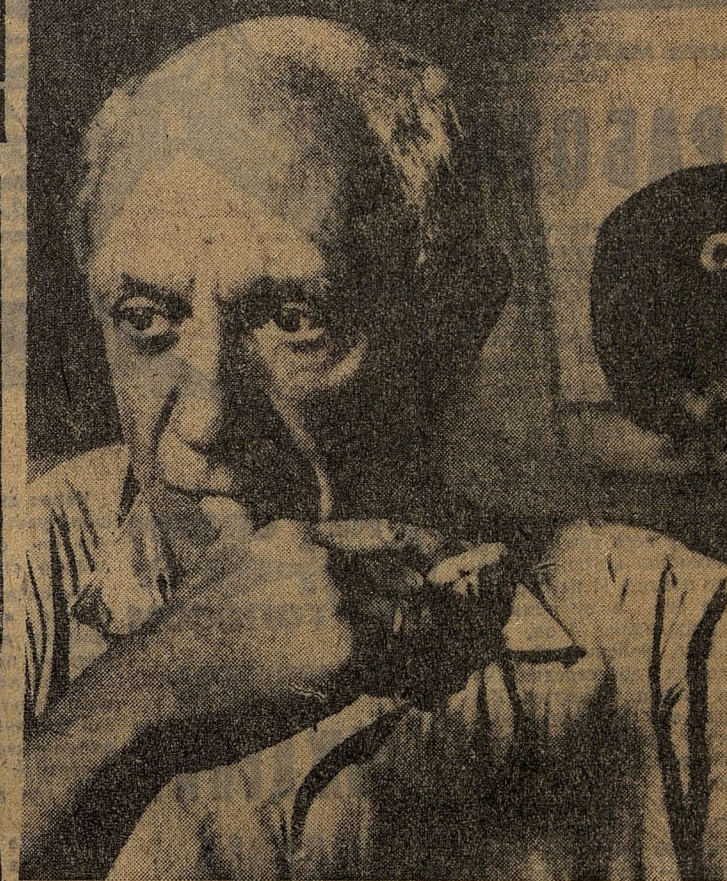
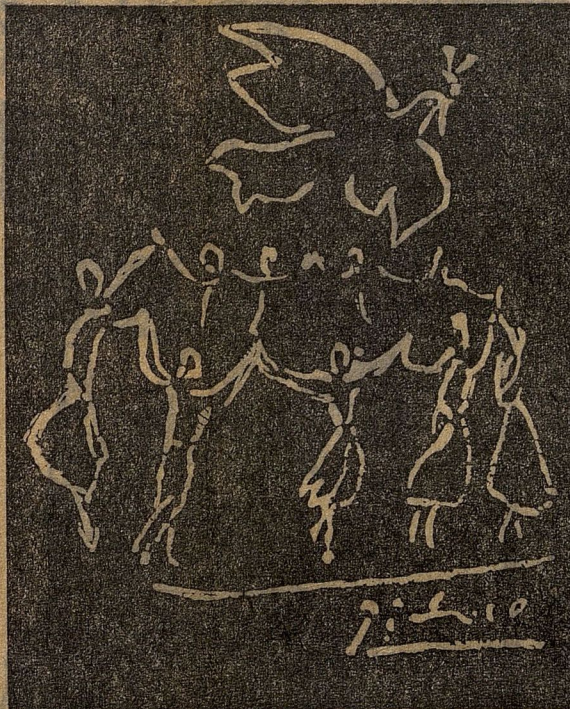
«Я НЕ ИЩУ, Я НАХОЖУ»

К 100-летию со дня рождения Пабло ПИКАССО

ВЕСНОЙ шестьдесят третьего года я был в гостях у Пабло Пикассо в его доме на юге Франции. Маленький быстрый человечек со сморщенным лицом, старой мудрой ящерицы, столько раз оставлявшей хвост в руках тех, кто пытался ее схватить, приручить, показывать мне свои работы. Сам он смотрел не на них, а на меня. Лукавые, искрящиеся любопытством глаза, казалось, раскладывали меня на составные элементы, а потом вновь складывали уже в каких-то иных, подвластных только воображению этого человека сочетаниях. Рама написанной в грязно-розоватых тонах картины «Похищение сабинянок» покачивалась, поставленная на загнутый вверх эскимоський шлепанец из тюленьей шкуры, надетый на босу ногу. Руки, поросшие седыми, но какими-то веселенькими волосами, с молниеносностью фокусника показывали мне то мифологические композиции мас-

лом, то иллюстрации тушью к Достоевскому, то условные карандашные наброски. Уверенные и небрежные, взаимоотношения рук Пикассо с его работами были похожи на взаимоотношения рук кукольника с его героями, введенными на парад-алле при помощи еле видимых ниточек. Работы плясали в руках, кланялись, исчезали... — Ну что, понравилось что-нибудь? Только честно... Что понравилось — подарю... — так и ванился в меня Пикассо глазами, вращающимися, как у хозяина тира из книги «Белеет парус одинокий». Я чувствовал себя Гавриком, но честно пробормотал, что мне больше нравится голубой период, а не эти последние работы. Два молодых человека с напряженными оливковыми лицами подпольщиков, не представленные поименно, очевидно, по конспиративным причинам (Пикассо попросил фоторепортера из «Юмани-

те» не фотографировать их), еще более напряженно переглянулись. Пикассо неожиданно для всех восторженно захохотал, потребовал шампанского, которое немедленно возникло на подносе в руках хозяйки, как будто было на наших глазах создано из ничего воображением гения. — Жива Россия-матушка! Жива! — кричал Пикассо, размахивая бокалом. — Жив дух Настасьи Филипповны, бросающей в огонь деньги! Ведь каждая моя подпись даже под плохим рисунком — это не меньше десятка тысяч долларов! Пикассо обнял меня и поцеловал. От него пахло свежими яблоками и свежей краской. Два молодых человека с напряженными оливковыми лицами тем временем скатали в трубки три холста, указанных жестом хозяина, и, не попрощавшись, растворились в огромном, наполненном тюрьмами и заговорами мире.



Картины Пабло, свернутые в трубки, нас принимали, пропахшие в подполье деловитом гектографами или динамитом. Картины Пабло, свернутые в трубки, какие совершали вы поступки! В каком-нибудь замызанном подвале подпольщики вас грустно продавали, но этим никогда не предавали. Миллионер чуть левый из Нью-Джерси рукой боксера в рыжеватой шерсти отсчитывал им деньги, на которые печатала воззвания история, и на Мадрид листовок стая падала, как живопись, разодранная Пабло. Картины Пабло, свернутые в трубки, возможно, краски ваши были хрупки, но вас, как дополнительная краска, скрепляла кровь кастильца или баска.

Евг.
ЕВТУШЕНКО

КАРТИНЫ, СВЕРНУТЫЕ В ТРУБКИ

Для тех картин, лишенных света, воздуха, в стране распятой не нашлось ни гвоздика. Гвоздей десятки тысяч уходили на грузные портреты каудильо, ценителя, как он хвалился, классики, которому мешали все «пикассики». И стали стены столько пусты из-за жандармской той переоценки. Когда людей всех лучших ставят к стенке, со стен сдирают лучшие холсты. Был запрещен Пикассо, но выласкивали по-ханжески Эль Греко и Веласкеса. Для классика живого — нету места. А мертвый классик тих — не жди протеста.

Но от такого лицемерья века хотел свернуться в трубку и Эль Греко. Но войны Веласкеса под латами, но мальчики Мурильо под заплатами Пикассо в трубках на груди запрятали! Но инсургенты Гойи на расстреле сквозь эти трубки на убийц смотрели! Картины Пабло, свернутые в трубки, вы мчались на конях, садились в шлюпки, и даже становились парусами, себя спасая от погони сами! И, может быть, подпольщик в Барселоне, взяв эту трубку в юные ладони, как будто в потайной трубе подзорной в ней видел мир прекрасный не позорный, лишь совести и небу поднадзорный. Картина в трубке, как сестра Эль Греко, к маслиновым глазам прижавшись крепко, дарила им возможность видеть что-то, что невозможно видеть из болота. Увидел глаз волшебный той трубы то, что не видно трусам и невеждам: изгнание искусства из страны кончается всегда победным въездом. Картины Пабло, свернутые в трубки, вам принесли голуби, голубки из кузницы и Урала, и Узски в усталых клювах гвозди для развески. И, запоздало поклоняясь гению, Испания в слезах встречает «Гернику», и край холста, еще в пыли изгнания, целует, словно край пробитый знаменем.

Бессмертные страницы и холсты всегда пробиты пулями незрячими. Сворачиванье в трубки красоты становится всемирным разворачиваньем! Изводятся фашисты от стараний согнуть искусство в трубку, в рог бараний. Но и блестинка горизонта в трубке, как форточка надежды — в мясорубке. Но и бараний рог от боя к бою становится подзорной трубкой! Тяжка труба подзорная искусства, но без нее на горизонте пусто... Мой современник, белый, желтый, черный, свернул мои стихи трубой подзорной. На станции Зима или в Гранаде приникши глазом к свернутой тетради, и голубей Пикассо эскадрильи увидишь ты в Перудже и Севилье. Когда-то нарисованные птицы размножились, летят через границы, нацелясь по-бойцовски, петушино на атомные страшные машины. И я — один из этой эскадрильи, а если мне порой ломают крылья, их чуть подправит кисточка Пикассо, и крылья вновь работают прекрасно. Мой современник, мы не одиночки. И если ты, свернувший трубкой строчки, увидишь даже в крохотном кружочке кусочек просто неба, а не рая, — я этим буду счастлива, умирая. Мне смерть не в смерть, — и старость мне не в старость, — лишь бы кусочек неба вам оставить и знать, что жизнь со смертью не погасла, как жизнь отца бессмертных птиц — Пикассо.

— Меня упрекают в том, что мой «Голубь мира» слишком агрессивен... Нахмурился, клюв наготове для драки, — сказал Пикассо. — А почему он должен быть добрым? Он уже не будет голубем мира, если станет клевать крошки из грязных рук... Я спросил Пикассо о Маяковском, с которым он встречался в молодости. — Маяковский? Это мой поэт. Он и, пожалуй, еще Элюар. В Маяковском было нечто огромное. Что не умещалось... Он так и сказал, без уточнений — где не умещалось, в чем не умещалось. Может быть, в чих-то головах, в чих-то схемах... В крошечном, по сравнению с ростом Маяковского, Пикассо было тоже нечто огромное. Что не умещалось. Нет ни одного другого художника, без которого XX век так непредставим, как без Пикассо. Вся современная архитектура, весь современный дизайн вышли из его опытов. Он был революционером в живописи, и поэтому революционер поэзии Маяковский был его поэтом. Пикассо продавал картины, но душу — никогда. Спор после его смерти между наследниками был так же позорен, как кража гроба Чаплина. Но тогда, весной 1963 года, я видел двух настоящих наследников Пикассо — посланцев молодой Испании. Они шли по мокрому травю саду дорожки крупно хрустящими шагами, и трубки холстов торчали у них под мышками, как дула. Пикассо помахал им, но они не обернулись.